

Планета людей

Автор:

Антуан де Сент-Экзюпери

Планета людей

Антуан де Сент-Экзюпери

Жизнь классика современной французской литературы Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944) оборвалась слишком рано. 31 июля 1944 года пилот не вернулся с боевого вылета. В одном из писем Сент-Экзюпери заметил: «Ищите меня в том, что я пишу». И это утверждение справедливо. Наследие писателя невелико по объему, но каждая строка его произведений, будь то роман о военных летчиках или сказка о маленьком принце, проникнута яркой индивидуальностью Сент-Экзюпери, дышит искренностью и любовью к людям.

Антуан де Сент-Экзюпери

Планета людей

© Перевод. Нора Галь, наследники, 2019

© Агентство ФТМ, Лтд., 2019

Анри Гийоме, товарищ мой, тебе посвящаю эту книгу

* * *

Земля помогает нам понять самих себя, как не помогут никакие книги. Ибо земля нам сопротивляется. Человек познает себя в борьбе с препятствиями. Но для этой борьбы ему нужны орудия. Нужен рубанок или плуг. Крестьянин, возделывая свое поле, мало-помалу вырывает у природы разгадку иных ее тайн и добывает всеобщую истину. Так и самолет – орудие, которое прокладывает воздушные пути, – приобщает человека к вечным вопросам.

Никогда не забуду мой первый ночной полет – это было над Аргентиной, ночь настала темная, лишь мерцали, точно звезды, рассеянные по равнине редкие огоньки.

В этом море тьмы каждый огонек возвещал о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает, или погружен в раздумье, или поверяет другу самое сокровенное. А здесь, быть может, кто-то пытается охватить просторы Вселенной или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды. А там любят. Разбросаны в полях одинокие огоньки, и каждому нужна пища. Даже самым скромным – тем, что светят поэту, учителю, плотнику. Горят живые звезды, а сколько еще там закрытых окон, сколько погасших звезд, сколько уснувших людей...

Подать бы друг другу весть. Позвать бы вас, огоньки, разбросанные в полях, – быть может, иные и отзовутся.

I. Линия

Это было в 1926 году. Я поступил тогда пилотом на авиалинию компании «Латекоэр», которая, еще прежде, чем «Аэропосталь» и «Эр-Франс», установила сообщение между Тулузой и Дакаром. Здесь я учился нашему ремеслу. Как и другие мои товарищи, я проходил стажировку, без которой новичку не доверят почту. Пробные вылеты, перегоны Тулуза – Перпиньян, нудные уроки метеорологии в ангаре, где зуб на зуб не попадал. Мы страшились еще неведомых нам гор Испании и с почтением смотрели на «стариков».

«Стариков» мы встречали в ресторане – они были хмурые, даже, пожалуй, замкнутые, снисходительно оделяли нас советами. Бывало, кто-нибудь из них, возвратясь из Касабланки или Аликанте, приходил позже всех, в кожанке, еще мокрой от дождя, и кто-нибудь из нас робко спрашивал, как прошел рейс, – и за краткими, скупыми ответами нам виделся необычайный мир, где повсюду подстерегают ловушки и западни, где перед тобою внезапно вырастает отвесная скала или налетает вихрь, способный вырвать с корнями могучие кедры. Черные драконы преграждают вход в долины, горные хребты увенчаны снопами молний. «Старики» умело поддерживали в нас почтительный трепет. А потом кто-нибудь из них не возвращался, и живым оставалось вечно чтить его память.

Помню, как вернулся из одного такого рейса Бюри, старый пилот, разбившийся позднее в Корбьерах. Он подсел к нашему столу и медленно ел, не говоря ни слова; на плечи его все еще давила тяжесть непомерного напряжения. Это было под вечер, в один из тех мерзких дней, когда на всей трассе, из конца в конец, небо словно гнилое и пилоту кажется, что горные вершины перекатываются в грязи, – так на старинных парусниках срывались с цепей пушки и бороздили палубу, грозя гибелью. Я долго смотрел на Бюри и наконец, сглотнув, осмелился спросить, тяжел ли был рейс. Бюри хмуро склонялся над тарелкой, он не слышал. В самолете с открытой кабиной пилот в непогоду высовывается из-за ветрового стекла, чтобы лучше видеть, и воздушный поток еще долго хлещет по лицу и свистит в ушах. Наконец Бюри словно бы очнулся и услышал меня, поднял голову – и рассмеялся. Это было чудесно – Бюри смеялся не часто, этот внезапный смех словно озарил его усталость. Он не стал толковать о своей победе и снова молча принялся за еду. Но во хмелю ресторана, среди мелких чиновников, которые утешались здесь после своих жалких будничных хлопот, в облике товарища, чьи плечи придавила усталость, мне вдруг открылось необыкновенное благородство: из грубой оболочки на миг просквозил ангел, победивший дракона.

Наконец однажды вечером вызвали и меня в кабинет начальника. Он сказал коротко:

– Завтра вы летите.

Я стоял и ждал, что сейчас он меня отпустит. Но он, помолчав, прибавил:

– Инструкции хорошо знаете?

В те времена моторы были ненадежны, не то что нынешние. Нередко ни с того ни с сего они нас подводили: внезапно оглушал грохот и звон, будто разбивалась вдребезги посуда, – и приходилось идти на посадку, а навстречу щерились колючие скалы Испании. «В этих местах, если мотору пришел конец, пиши пропало – конец и самолету!» – говорили мы. Но самолет можно и заменить. Самое главное – не врезаться в скалу. Поэтому нам, под страхом самого сурового взыскания, запрещалось идти над облаками, если внизу были горы. В случае аварии пилот, снижаясь, мог разбиться о какую-нибудь вершину, скрытую под белой ватой облаков.

Вот почему в тот вечер на прощанье медлительный голос еще раз настойчиво внушал мне:

– Конечно, это недурно – идти над Испанией по компасу, над морем облаков, это даже красиво, но...

И еще медлительнее, с расстановкой:

– ...но помните, под морем облаков – вечность...

И вот мирная, безмятежная гладь, которая открывается взору, когда выходишь из облаков, сразу предстала передо мной в новом свете. Это кроткое спокойствие – западня. Мне уже чудилась огромная белая западня, подстерегающая далеко внизу. Казалось бы, под нею кипит людская суета, шум, неугомонная жизнь городов, – но нет, там тишина еще более полная, чем наверху, покой нерушимый и вечный. Белое вязкое месиво становилось для меня границей, отделяющей бытие от небытия, известное от непостижимого. Теперь я догадывался, что смысл видимого мира постигаешь только через культуру, через знание и свое ремесло. Море облаков знакомо и жителям гор. Но они не видят в нем таинственной завесы.

Я вышел от начальника гордый, как мальчишка. С рассветом настанет мой черед, мне доверят пассажиров и африканскую почту. А вдруг я этого не стою? Готов ли я принять на себя такую ответственность? В Испании слишком мало посадочных площадок, – случись хоть небольшая поломка, найду ли я прибежище, сумею ли приземлиться? Я склонялся над картой, как над

бесплодной пустыней, и не находил ответа. И вот в преддверии решительной битвы, одолеваемый гордостью и робостью, я пошел к Гийоме. Мой друг Гийоме уже знал эти трассы. Он изучил все хитрости и уловки. Он знает, как покорить Испанию. Пусть он посвятит и меня в свои секреты. Гийоме встретил меня улыбкой.

– Я уже слышал новость. Ты доволен?

Он достал из стенного шкафа бутылку портвейна, стаканы и, не переставая улыбаться, подошел ко мне.

– Такое событие надо спрыснуть. Увидишь, все будет хорошо!

От него исходила уверенность, как от лампы – свет. Несколько лет спустя он, мой друг Гийоме, совершил рекордные перелеты с почтой над Кордильерами и Южной Атлантикой. А в тот вечер, сидя под лампой, освещавшей его рубашку, скрещенные руки и улыбку, от которой я сразу воспрянул духом, он сказал просто:

– Неприятности у тебя будут – гроза, туман, снег, – без этого не обойтись. А ты рассуждай так: летали же другие, они через это прошли, значит, и я могу.

Я все-таки развернул свою карту и попросил его просмотреть со мною маршрут. Наклонился над освещенной картой, оперся на плечо друга – и вновь почувствовал себя спокойно и уверенно, как в школьные годы.

Странный то был урок географии! Гийоме не преподносил мне сведения об Испании, он дарил мне ее дружбу. Он не говорил о водных бассейнах, о численности населения и поголовье скота. Он говорил не о Гуадиксе, но о трех апельсиновых деревьях, что растут на краю поля неподалеку от Гуадикса. «Берегись, отметь их на карте...» И с того часа три дерева занимали на моей карте больше места, чем Сьерра-Невада. Он говорил не о Лорке, но о маленькой ферме возле Лорки. О жизни этой фермы. О ее хозяине. И о хозяйке. И эта чета, затерявшаяся на земных просторах за тысячу с лишним километров от нас, безмерно вырастала в моих глазах. Их дом стоял на горном склоне, их окна светили издали, словно звезды, – подобно смотрителям маяка эти двое всегда готовы были помочь людям своим огнем.

Так мы извлекали из забвения, из невообразимой дали мельчайшие подробности, о которых понятия не имеет ни один географ. Ведь географов занимает только Эбро, чьи воды утоляют жажду больших городов. Но им нет дела до ручейка, что прячется в траве западнее Мотриля, – кормилец и поилец трех десятков полевых цветов. «Берегись этого ручья, он портит поле... Нанеси его тоже на карту». О да, я буду помнить про мотрильскую змейку! Она выглядела так безобидно, своим негромким журчаньем она могла разве что убаюкать нескольких лягушек, но сама она спала вполглаза. Затаясь в траве за сотни и сотни километров отсюда, она подстерегала меня на краю спасительного поля. При первом удобном случае она бы меня превратила в сноп огня...

Готов я был и к встрече с драчливыми баранами, которые всегда пасутся вон там, на склоне холма, и, того гляди, бросятся на меня. «Посмотришь – на лугу пусто, и вдруг – бац! – прямо под колеса кидаются все тридцать баранов...» И я изумленно улыбался столь коварной угрозе.

Так понемногу Испания на моей карте, под лампой Гийоме, становилась какой-то сказочной страной. Я отмечал крестиками посадочные площадки и опасные ловушки. Отметил фермера на горе и ручеек на лугу. Старательно нанес на карту пастушку с тридцатью баранами, совсем как в песенке, – пастушку, которой пренебрегают географы.

Потом я простился с Гийоме, и мне захотелось немного пройтись, подышать морозным вечерним воздухом. Подняв воротник, я шагал среди ничего не подозревающих прохожих, молодой и ретивый. Меня окружали незнакомые люди, и я гордился своей тайной. Они меня не знают, бедняги, а ведь на рассвете с грузом почты они доверят мне свои заботы и душевные порывы. В мои руки предадут свои надежды. И, уткнувшись в воротник, я ходил среди них как защитник и покровитель, а они ничего и ведать не ведали.

Им не были вняты и знаки, которые я ловил в ночи. Ведь если где-то зреет снежная буря, которая помешает мне в моем первом полете, от нее, возможно, зависит и моя жизнь. Одна за другой гаснут в небе звезды, но что до этого прохожим? Я один понимал, что это значит. Перед боем мне посылали весть о расположении врага...

А между тем эти сигналы, исполненные для меня такого значения, я получал возле ярко освещенных витрин, где сверкали рождественские подарки. Казалось, в ту ночь там были выставлены напоказ все земные блага, – и меня опьяняло горделивое сознание, что я от всего этого отказываюсь. Я воин, и мне грозит опасность, на что мне искристый хрусталь – украшение вечерних пиршеств, что мне абажуры и книги? Меня уже окутывали туманы, – рейсовый пилот, я уже вкусил от горького плода ночных полетов.

В три часа меня разбудили. Я распахнул окно, увидел, что на улице дождь, и сосредоточенно, истово оделся.

Полчаса спустя я уже сидел, оседлав чемоданчик, на блестящем мокром тротуаре и дожидался автобуса. Сколько товарищей до меня пережили в день посвящения такие же нескончаемые минуты, и у них так же сжималось сердце! Наконец он вывернулся из-за угла, этот допотопный дребезжащий тарантас, и вслед за товарищами настал и мой черед по праву занять место на тесной скамье между невыспавшимся таможенником и двумя или тремя чиновниками. В автобусе пахло затхлой и пыльной канцелярией, старой конторой, где, как в болоте, увязает человеческая жизнь. Через каждые пятьсот метров автобус останавливался и подбирал еще одного письмоводителя, еще одного таможенника или инспектора. Вновь прибывший здоровался, сонные пассажиры бормотали в ответ что-то невнятное, он с грехом пополам втискивался между ними и тоже засыпал. Точно в каком-то унылом обозе, трясло их на неровной тулузской мостовой, и поначалу рейсовый пилот был неотличим от всех этих канцеляристов... Но мимо плыли уличные фонари, приближался аэродром – и старый тряский автобус становился всего лишь серым коконом, из которого человек выйдет преображенным.

В жизни каждого товарища было такое утро, и он вот так же чувствовал, что в нем, в подчиненном, которого пока еще может безнаказанно шпынять всякий инспектор, рождается тот, кто скоро будет в ответе за испанскую и африканскую почту, – тот, кто через три часа среди молний примет бой с драконом Оспиталета, а через четыре часа выйдет из этого боя победителем; и тогда он волен будет избрать любой путь – в обход, над морем, или на приступ, напрямик через Алькойский кряж, – он поспорит и с грозой, и с горами, и с океаном.

В жизни каждого товарища было такое утро, и он, затерянный в безликой, безымянной кучке людей под хмурым небом зимней Тулузы, вот так же

чувствовал, как растет в нем властелин, который через пять часов оставит позади зиму и север, дожди и снега и, уменьшив число оборотов, неторопливо спустится в лето, в залитый ослепительным солнцем Аликанте.

Старого автобуса давно уже нет, но он и сейчас жив в моей памяти, жесткий, холодный и неуютный. Он был точно символ непрременной подготовки к суровым радостям нашего ремесла. Все здесь было проникнуто строгой сдержанностью. Помню, три года спустя в этом же автобусе (не было сказано и десятка слов) я узнал о гибели Лекривэна, одного из многих наших товарищей, туманным днем или туманной ночью ушедших в отставку навеки.

Была такая же рань – три часа ночи, и такая же сонная тишина, как вдруг наш начальник, неразличимый в полутьме, окликнул инспектора:

– Лекривэн не приземлился ночью в Касабланке.

– А? – отозвался инспектор.

Неожиданно вырванный из сна, он с усилием встряхнулся, стараясь показать свой ревностный интерес к службе.

– А, что? Ему не удалось пройти? Повернул назад?

Из глубины автобуса ответили только:

– Нет.

Мы ждали, но не услышали больше ни слова. Тяжело падали секунды, и понемногу стало ясно, что после этого «нет» ничего больше и не будет сказано, что это «нет» – жестокий, окончательный приговор: Лекривэн не только не приземлился в Касабланке – он уже никогда и нигде не приземлится.

Так в то утро, на заре моего первого почтового рейса, и я, как все мои товарищи по ремеслу, покорялся незыблемому порядку, и смотрел в окно на блестящий под дождем асфальт, в котором отражались огни фонарей, и чувствовал, что не слишком уверен в себе. От ветра по лужам пробегала рябь, похожая на

пальмовые ветви. «Да... не очень-то мне везет для первого рейса...» – подумал я. И сказал инспектору:

– Погода как будто неважная?

Инспектор устало покосился на окно.

– Это еще ничего не значит, – проворчал он, помедлив.

Как же тогда разобрать, плохая погода или хорошая? Накануне вечером Гийоме одной своей улыбкой уничтожил все недобрые пророчества, которыми угнетали нас «старики», но тут они опять пришли мне на память: «Если пилот не изучил всю трассу назубок да попадет в снежную бурю... одно могу сказать, жаль мне его, беднягу!..» Надо же им было поддержать свой авторитет, вот они и качали головой, и мы смущенно поеживались под их соболезующими взглядами, чувствуя себя жалкими простачками.

И в самом деле, для многих из нас этот автобус оказался последним прибежищем. Сколько их было – шестьдесят? Восемьдесят? Всех ненастным утром вез тот же молчаливый шофер. Я огляделся: в темноте светились огненные точки, каждая то разгоралась, то меркла в такт раздумьям курильщика. Убогие раздумья стареющих чиновников... Скольким из нас эти спутники заменили погребальный кортеж?

Я прислушивался к разговорам вполголоса. Говорили о болезнях, о деньгах, поверяли друг другу скучные домашние заботы. За всем этим вставали стены унылой тюрьмы, куда заточили себя эти люди. И вдруг я увидел лик судьбы.

Старый чиновник, сосед мой по автобусу, никто никогда не помог тебе спастись бегством, и не твоя в том вина. Ты построил свой тихий мирок, замуровал наглухо все выходы к свету, как делают термиты. Ты свернулся клубком, укрылся в своем обывательском благополучии, в косных привычках, в затхлом провинциальном укладе, ты воздвиг этот убогий оплот и спрятался от ветра, от морского прибоя и звезд. Ты не желаешь утруждать себя великими задачами, тебе и так немало труда стоило забыть, что ты – человек. Нет, ты не житель планеты, несущейся в пространстве, ты не задаешься вопросами, на которые нет ответа: ты просто-напросто обыватель города Тулузы. Никто вовремя не схватил тебя и не удержал, а теперь уже слишком поздно. Глина, из которой ты слеплен,

высохла и затвердела, и уже ничто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, или поэта, или астронома, который, быть может, жил в тебе когда-то.

Я уже не в обиде на дождь, что хлещет в окна. Колдовская сила моего ремесла открывает предо мною иной мир: через каких-нибудь два часа я буду сражаться с черными драконами и с горными хребтами, увенчанными гривой синих молний, – и с наступлением ночи, вырвавшись на свободу, проложу свой путь по звездам.

Так совершалось наше боевое крещение, и мы начинали работать на линии. Чаще всего рейсы проходили гладко. Невозмутимо, как опытные водолазы, погружались мы в глубь наших владений. Сегодня они перестали быть неизведанной стихией. Летчик, бортмеханик и радист уже не пускаются в путь наудачу, самолет для них – лаборатория. Они повинуются не скользящему под крылом ландшафту, а дрожи стрелок. За стенками кабины тонут во мраке горы, – но это уже не горы, это незримые силы, чье приближение надо рассчитать. Радист при свете лампы старательно записывает цифры, механик делает пометки на карте, – и если горы снесло в сторону, если вершины, которые пилот намеревался обойти слева, безмолвно развернулись прямо перед ним, точно вражеская армия в засаде, он попросту выправляет курс.

И на земле дежурные радисты, прислушиваясь к голосу товарища, все разом старательно записывают: «0 часов 40 минут. Курс 230. На борту все благополучно».

Так странствует в наши дни экипаж воздушного корабля. Он и не замечает, что движется. Словно ночью в море, он далек от каких-либо ориентиров. Но моторы заполняют все непрерывной дрожью, и от этого кабина – уже не просто освещенная комнатка. И время идет. И за всеми этими циферблатами, радиолампами, стрелками действует некая незримая алхимия. Секунда за секундой таинственные жесты, приглушенные слова, сосредоточенное внимание готовят чудо. И в урочный час пилот может уверенно выглянуть наружу. Из Небытия рождается золото, оно сверкает посадочными огнями.

И все же с каждым из нас случалось так: в рейсе, в двух часах от аэродрома задумаешься и вдруг ощутишь такое одиночество, такую оторванность от всего

на свете, каких не испытал бы и в самом сердце Индии, – и кажется, уже не будет возврата.

Так было с Мермозом, когда он впервые пересек на гидроплане Южную Атлантику и под вечер приблизился к Пот-о-Нуар – «котлу тьмы». С каждой минутой перед ним все теснее сходились хвосты ураганов, – словно на глазах воздвигали стену, – потом опустилась ночь и скрыла эти приготовления. А часом позже он вывернулся из-под облаков и очутился в заколдованном царстве.

Перед ним вздымались смерчи, они казались неподвижными – черные колонны невиданного храма. Вверху они расширялись, поддерживая низкий, мрачный свод бури, но через проломы в своде падали широкие полосы света, и полная луна сияла меж колонн, отражаясь в холодных плитах вод. И Мермоз пробирался через эти руины, куда не вступала больше ни одна душа, скользил по лунным протокам, среди бакенов света, метивших извилистый фарватер, огибал гигантские гремучие колонны вставшего дыбом океана, – четыре часа шел он к выходу из храма. Это грозное величие ошеломляло, и, лишь когда Пот-о-Нуар остался позади, Мермоз вдруг понял, что даже не успел испугаться.

Мне тоже помнятся такие часы, когда покидаешь пределы реального мира: в ту ночь все радиопеленги, посланные с аэродромов Сахары, невероятно искажались и совсем сбили меня и моего радиста Нери с толку. Неожиданно сквозь просвет в тумане под нами блеснула вода, и я круто повернул к берегу, но невозможно было понять, далеко ли мы ушли над морем.

Как знать, доберемся ли мы теперь до берега? Может не хватить горючего. И даже если доберемся, надо еще найти посадочную площадку. А меж тем луна уже заходила. Все трудней становилось производить измерения сноса – и мы, уже оглохшие, постепенно слепли. Луна угасала в тумане, словно тлеющий уголь в сугробе. Небо над нами тоже затягивалось облачной пеленой, и мы плыли между облаками и туманом, в тусклой мертвой пустоте.

Аэродромы, которые откликались на наш зов, не могли определить, где мы находимся. «Пеленг дать не можем... Пеленг дать не можем...» – повторяли они, потому что наш голос доносился до них отовсюду и ниоткуда.

И вдруг, когда мы уже отчаялись, впереди слева на горизонте сверкнула огненная точка. Я неистово обрадовался. Нери склонился ко мне, и я услышал – он поет! Конечно же это аэродром, конечно же маяк! Ведь больше здесь нечему светить – по ночам вся огромная Сахара погружается во тьму, вся она словно вымирает. Но огонек померцал немного и угас. То была заходящая звезда, всего на несколько минут проглянула она над горизонтом, между облаками и пеленой тумана, и на нее-то мы взяли курс...

А потом перед нами вставали еще и еще огни, и мы со смутной надеждой брали курс на каждый новый огонек. И если он не угасал сразу, мы подвергали его испытанию.

– Видим огонь, – передавал Нери аэродрому в Сиснеросе. – Трижды погасите и зажгите маяк.

Сиснерос гасил и вновь зажигал свой маяк, но не мигал жестокий свет, за которым мы жадно следили, – неподкупная звезда.

И хоть горючее все убывало, мы каждый раз попадались на золотой крючок: уж теперь-то впереди настоящий маяк! Уж теперь-то это аэродром – и жизнь!.. И опять мы меняли звезду.

Вот тогда мы почувствовали, что заблудились в пространстве, среди сотен недосыгаемых планет, и кто знает, как отыскать ту настоящую, ту единственную нашу планету, на которой остались знакомые поля, и леса, и любимый дом, и все, кто нам дорог...

Единственная планета... Я вам расскажу, какая мне тогда привиделась картина, хотя, быть может, вы сочтете это ребячеством. Но ведь и в минуту опасности остаешься человеком со всеми человеческими заботами, и я был голоден и хотел пить. Если только доберемся до Сиснероса, думал я, там наполним баки горючим и снова в путь, и вот рано поутру мы в Касабланке. Дело сделано! Мы с Нери отправимся в город. Иные маленькие быстро на рассвете уже открыты... Мы усядемся за столик, нам подадут свежие рогалики и кофе с молоком, и мы посмеемся над опасностями минувшей ночи. Мы с Нери примем утренние дары жизни. Так старой крестьянке трудно было бы ощутить Бога, не будь у нее яркого образа, наивной ладанки, четок: чтобы мы услышали, с нами надо говорить простым и понятным языком. Так радость жизни воплотилась для меня

в первом глотке ароматного обжигающего напитка, в смеси кофе, молока и пшеницы – в этих узах, что соединяют нас с мирными пастбищами, с экзотическими плантациями и зрелыми нивами, со всей Землей. Среди великого множества звезд лишь одна наполнила этим душистым напитком чашу нашей утренней трапезы, чтобы стать нам ближе и понятнее.

Но между нашим воздушным кораблем и той обитаемой планетой ширились неодолимые расстояния. Все богатства мира остались на крохотной песчинке, затерявшейся меж созвездий. И звездочет Нери, пытаясь ее распознать, все еще напрасно заклинал светила.

Вдруг он стукнул меня по плечу. За тумакom последовала записка. Я прочел: «Все хорошо, принимаю превосходное сообщение». С бьющимся сердцем я ждал, пока он допишет те несколько слов, которые нас спасут. И вот наконец этот дар небес у меня в руках.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.me/ru/de-sent-ekzyuperi_antuan/planeta-lyudey

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)